

Вячеслав Десятов, Александр Куляпин

„ЗАКЛЯТИЕ СУМЫ И ВЕНЦА“: ИМЕННЫЕ МИФОЛОГИИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА И ЮРИЯ ОЛЕШИ

Формулировка названия данной статьи может вызвать недоумение: на каком основании объединяются именные, сугубо индивидуальные мифологии столь разных (и столь „разноименных“) авторов, как Н. Гумилев и Ю. Олеши?

Оправданием служит то обстоятельство, что наши „личные“ имена, „собственно, менее всего являются личными: они переводят наше персональное бытие в родовое, сопрягают нас с небесными либо историческими патронами, фиксируют нашу сопричастность природному миру“.¹

Примеры двух вышеназванных писателей демонстрируют влияние на процесс создания мифологий их личных имен константных социокультурных моделей российской жизни. При всех разительных отличиях эпохи серебряного века от послереволюционной ситуации неизменно важной оставалась проблема „поэт и царь“, подразумевающая как отношения художника с властью, так и претензии самого художника на роль „властителя и судии“. Вероятно, поэтому и для Гумилева, и для Олеси принципиальное значение имел архетипический сюжет превращения царя в нищего и наоборот. Любопытно, что привлекает того и другого писателя этот сюжет в преломлении Марка Твена, автора романа *Принц и нищий*. Симптоматичное обращение к детской книге свидетельствует о наличии в психическом строе Гумилева и Олеси черт инфантилизма, проявившихся, в частности, в некоем „адамическом“ самоощущении обоих, что, естественно, усиливало их интерес к акту номинации.

1. „Раб косоглазый“ или Николай Третий?

В гумилевском случае этот „адамизм“ и интерес к имени очевиден: „Лишь девственные наименованья / Поэтам разрешаются отсель“,² – заявил поэт в стихотворении „Роза“ (сборник *Костер*).

¹ И. Смирнов, *Бытие и творчество*, Санкт-Петербург 1996, 46-47.

² Стихотворения Гумилева цитируются здесь (и далее – с указанием страницы в скобках после цитаты) по самому полному собранию его стихотворений: Н. Гумилев, *Сочинения в трех томах*, т. 1, Москва 1991, 222. (Вступ. ст., сост., примеч. Н.А. Богомолова).

Рефлексивное отношение Гумилева к собственному имени сказалось, в частности, в выборе места венчания с А.А. Горенко, которое произошло в Николаевской церкви села Никольская слободка, а не Царском селе, не в Петербурге и не в Киеве.

Имя Николай включает в себя два греческих слова: Nike (победа) и Laos (народ). Один из смыслов соединения этих слов – „победитель народа“, властитель, завоеватель. Хорошо известна центральная фигура поэтической мифологии Гумилева – конквистадор, т.е. покоритель язычников (языки = народы).

Хрестоматийные строчки Гумилева рисуют героя, подавляющего бунт, восстанавливающего иерархию:

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет...
(116, „Капитаны“)

Примечательно, что социальная позиция поэта в 1917-21 гг. совпала с позицией его авторитарного капитана: Гумилев полагал, что государством должны управлять поэты³ и самому себе отводил, похоже, роль „Николая III“.

Фамилия основателя акмеизма / адамизма в этимологическом и каламбурном прочтении дает оба полюса его именной мифологии (царь и нищий). В юности Гумилев не отзывался, когда его фамилию произносили в гимназии с ударением на первый слог: она образована от латинского „humilis“, что означает „смиранный“, „ничтожный“, „подлый“. В первом и программном акмеистическом произведении – поэме „Блудный сын“ Гумилев наделил своей внешностью одного из эпизодических персонажей: „раб косоглазый и с черепом узким“ (151). Этот образ предсказывает судьбу главного, автопсихологического героя поэмы – Блудного сына, который, разочаровавшись в своих конквистадорских устремлениях и пройдя через нищету, действительно становится „смиранным“ и возвращается в дом своего отца.

Дружеская эпиграмма на поэта каламбурно обыгрывает звучание его фамилии: „Наш Гумми - лев [...], Гумми - резиновый, но лев“.⁴ Лев, „царь зверей“ неоднократно появляется в гумилевской поэзии, Львом Гумилев называет и своего сына.

³ См. об этом напр., Р.Д. Тименчик, „Комментарии“, Н.С. Гумилев, *Письма о русской поэзии*, Москва 1991, 361-362; Николай Гумилев. *Исследования. Материалы. Библиография*, Санкт-Петербург 1994, 301.

⁴ Факсимиле автографа А. Ахматовой: В. Лукницкая, Николай Гумилев. *Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких*, Ленинград 1990. Вклейка между стр. 64 и 65.

Сочетание значений первой и второй части фамилии рождает оксюморон „смиранный лев“, живо напоминающий имя героя Достоевского Льва Мышкина. По резонному замечанию Д. Золотницкого, со Львом Мышкиным явно соотносится королевич Гондла, заглавный герой драматической поэмы Гумилева, alter ego автора.⁵ Мировоззрение и персонажа, и автора соткано из элементов нищезанятия и христианства, „воли к власти“ и смирения.

Взаимодействие двух полюсов именной мифологии поэта выходит на поверхность в стихотворении „Мечты“ (сборник *Романтические цветы*), где старый ворон воображает своего друга, „отвратительного нищего“, принцем (69). Эта „марктовенская“ аллюзия, вероятно, обусловлена влиянием В.Я. Брюсова, поскольку „Мечты“ написаны в период интенсивной переписки между двумя поэтами (1907). Брюсов в своем эстетическом манифесте „Ключи тайн“, опубликованном в первом номере только что возникших *Весов* (1904), называет искусство „государственной печатью в великом государстве Вселенной“ и при этом постоянно апеллирует к сцене из романа Марка Твена *Принц и нищий*, где „бедный Том, попав во дворец, пользуется государственной печатью, для того, чтобы колоть ею орехи“.⁶ Неожданное, на первый взгляд, сравнение искусства с государственной печатью вполне в духе брусоских этатизма и бюрократизма, о которых позже вольно или невольно напоминал современникам Гумилев. „Важность, с которой Гумилев ‘заседал’ тотчас мне напомнила Брюсова“,⁷ – отметил В. Ходасевич в очерке „Гумилев и Блок“. Даже в послереволюционной нищете Гумилев сохранял королевскую осанку. „Он меня пригласил к себе, – продолжает Ходасевич, – и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал – не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета, сидели мы и беседовали с непомерною важностью“.⁸

В стихотворении „Принцесса“ („Романтические цветы“) Гумилев отображает ситуацию противоположную той, о которой шла речь в „Мечтах“: попавшая в дом бедного рабочего принцесса чувствует, „Что она теперь лишь вправду дома“. Несмотря на то, что быт этого рабочего показан как нищенский („Неужели это только тряпки, / Жалкие, ненужные отбросы, /

⁵ Д.И. Золотницкий, *Театр поэта. – Н.С. Гумилев, Драматические произведения*. Переводы. Статьи. Ленинград 1990, 23.

⁶ В.Я. Брюсов, *Собрание сочинений в семи томах*, т. 6, Москва 1975, 83, 91.

⁷ В. Ходасевич, *Колеблемый треножник*, Москва 1991, 323.

⁸ Там же.

Кроличьи засушенные лапки, / Брошенные на пол папиросы(?), принцес-
сой „не раз потом в глухие ночи / Проливались слезы об избушке“ (62).

Третья часть несобранного „королевско-нищенского“ триптиха, написанная в 1911 году, начинается следующей строфой:

Все ясно для тихого взора:
И царский венец, и суму,
Суму нищеты и позора, –
Я все беспечально возьму.

А в последних строфах этого стихотворения Гумилев приходит к осознанию гипнотической власти над ним архетипа „царь / нищий“, ведущий к постоянной неудовлетворенности своей судьбой:

Там брошу лохмотья и лягу
И буду во сне королем,
А люди увидят бродягу
С бескровно-землистым лицом.

Я знаю, я зачарован
Заклятьем сумы и венца,
И если б я был коронован,
Мне снилась бы степь без конца. (359)

2. „Пан круль Ежи Перший“

Юрий Карлович Олеша, невзирая на господствующие настроения в советском обществе, любил подчеркивать свое дворянское происхождение. В воспоминаниях современников Олеша это отражено многократно. Например, Л. Никулин приводит характерное высказывание писателя: „С комической серьезностью Олеша говорил о своем шляхетском происхождении и шляхетском тонком обращении. [...] Моей жене он доказывал, что его, как шляхтича, могли бы избрать королем Речи Посполитой и тогда бы он назывался „пан круль Ежи Перший“ – король Юрий Первый. Но и это, казалось, его не удовлетворяло, он требовал, чтобы его называли „пан круль Ежи Перший велький“ – великий“.⁹

Почвой для таких амбиций служили судя по всему детские впечатления. В автобиографической книге *Ни дня без строчки* Олеша упоминает о родовом поместье „Юнище“, проданном его отцом и дядей „за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство“.¹⁰

⁹ Воспоминания о Юрии Олеше, Москва 1975, 69.

¹⁰ Ю. Олеша, *Зависть. Ни дня без строчки*. Рассказы, Москва 1989, 118.

Весьма красноречив монтаж двух фрагментов в этой книге, объединенных единственным словом. От яркой сцены празднества в честь рождения наследника престола Олеша неожиданно переходит к эпизоду в парикмахерской:

Услышав мой вопрос, почему, собственно, иллюминация, городской прикладывает руку в белой перчатке к козырьку и говорит:

– Наследник родился.

Парикмахерская на Успенской улице. Здесь как-то захолустно. Даже идешь к порогу по бульжникам, между которыми трава.

Отец говорит парикмахеру, с которым у него какие-то неизвестные, но короткие отношения:

– Подстригите наследника! [...]

Мне тягостно слушать. И почему-то стыдно. И почему-то помню я до сих пор эту тягость. Какой же я наследник? Чего наследник? Я знаю, что папа беден. Чего же наследник?¹¹

Обе части архетипа „король / нищий“ как раз и вырастают в творчестве Олеши из понятия „наследник без наследства“, отчасти восходя к роману Марка Твена *Принц и нищий*, сюжет которого Олеша считал самым паразитическим во всем корпусе мировой литературы: „Мне часто приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы пересказать на особом листе – верней, листов понадобится несколько – все те сюжеты литературных произведений, которые поразили меня. [...] Первым вспоминается *Принц и нищий*. [...] В *Принце и нищем* есть линия, соединяющая юного короля в его бедствиях с неким молодым дворянином, судьба которого схожа с судьбой короля: он тоже оказался вне права на свою собственность... Правда, король оказался вне права на престол, а дворянин всего лишь на полагающуюся ему часть земельного наследства, тем не менее их сближает один и тот же гнев против несправедливости“.¹²

„Королевские“ элементы бытового поведения писателя подкреплены семантикой его патронима – Карлович, т.е. королевич. Как это бывает с владетельными особами (Генрих IV Наваррский, Александр III Шотландский, Карл I Испанский и пр.), подчеркивал связь своей фамилии с названиями местностей и населенных пунктов его исторической родины.¹³ По свидетельству А. Аборского:

Юрий Карлович заинтересовался неожиданно наименованиями селений в Галиции, Южной Польше, освобожденных Советской армией

¹¹ Там же, 121-122.

¹² Там же, 302.

¹³ Хотя ему, безусловно, больше подошел бы титул еще одного известного исторического лица – Иоанна I Безземельного.

от немецких захватчиков. Указывал на газетную полосу, где он подчеркнул карандашом множество населенных пунктов.

– Смотрите – Олешаны, Олеси и масса таких же производных от оленя. Узнаете? Мое имя! Мое происхождение. Олененок, молодой олень.¹⁴

Сделавшись знаменитым писателем, Олеша совершенно не интересовался заработками, не стремился к материальному благополучию, но при этом продолжал играть роль коронованной особы:

В сердце Юрия Карловича постоянно жил король со своими истинно королевскими причудами, – пишет И. Рахтанов. – [...] Небритый, неприглаженный, он оставался королем, и по вечерам, стоя у зеркала в моей комнате, спрашивал, обращаясь к своему отражению:

– Похож? На Кипплинга похож? [...] Помните, „Каменщик был и король я...“¹⁵

Воспоминания разных мемуаристов словно бы продолжают друг друга.
Л. Славин:

Он одновременно хотел быть и нищим, и миллионером. Нищим – чтобы продемонстрировать свое презрение к материальным благам (главное – в духовном!). Миллионером – потому, что он любил пышную, украшенную жизнь.

Я. Смеляков:

Олеша вдруг получил большие деньги. Выпив и закусив, мы втроем пошли по предутренней весенней Москве, по ее погасшим переулкам. И по дороге, с молчаливого согласия хозяина, жена его Ольга Густавовна бросала всю дорогу тридцатки (тогда были такие красивые денежные купюры) в открытые подвальные и полуподвальные форточки. Нищий любил волшебную жизнь.¹⁶

„Только настоящий нищий является настоящим королем“, – сказал в свое время Лессинг. Его формулой воспользовался А. Адлер, комментируя один из самых известных случаев в своей психоаналитической практике, напоминающей случай Олеси:

Этот мужчина добился высокой степени искусства в попрошайничестве, влияя на других с помощью своего жалкого положения. „Как превратить бедного, слабого ребенка в короля?“ – такова была проблема его жизни, как он ее понимал. [...] Когда я начал лечить

¹⁴ *Воспоминания о Юрии Олеше*, 200–201.

¹⁵ Там же, 223, 224.

¹⁶ Там же, 20–21, 243–244.

его, мои объяснения произвели на него сильное впечатление. Через несколько дней он прислал мне свой памфлет, который он написал несколько лет назад. Памфлет назывался „Ассоциация Нищих“.¹⁷

Творчество Олеси в значительной своей части тоже посвящено теме нищества. „Образ нищего волнует меня с детства“,¹⁸ пишет Олеша в автобиографическом рассказе „В мире“. Вполне закономерно появление в таком контексте замысла романа „Нищий“.

И пациент Адлера, и Олеша стремились вовсе не к материальным ценностям, а пытались преодолеть „комплекс неполноценности“, завоевывая признание, любовь и славу. Причем „комплекс“ Олеси носил характер не только психологический, но и социально-исторический, будучи связан с попытками писателя стать „на один уровень и с рабочим, и с комсомольцем“.¹⁹

Во имя достижения этой цели Олеша даже готов был смириться с искажением своей „шляхетской“ фамилии, превращаясь в простого, общепонятного „Алешу“. М. Зорин вспоминает о встрече писателей с шахтерами: „Писателей благодарит Никита Изотов. [...] Хохот потрясает зал, когда он говорит о Юрии Карловиче Олеше. Изотов решил, что Олеша – это имя „Алеша“, что товарищи так дружески называют писателя. Изотов продолжает:

– Вот тут выступил товарищ Алексей, простите, не знаю вашего отчества...

– Юрий Карлович, – приподнимается из-за стола Олеша. – Ладно, дело не в имени, – перекрывая аплодисменты и добрый смех, говорит Изотов. [...]

Юрий Олеша подходит к Никите Изотову. Они стоят рядом – высокий, плечистый богатырь Никита Изотов и маленький по сравнению с ним, возбужденный и радостный Юрий Олеша.²⁰

Творчество Олеси тоже дает примеры подобных „лереименований“, когда герои, близкие автору, награждаются „высокопарными и низкопробными фамилиями“ (*Зависть*). Их носители – Кавалеров и Козленков („Пророк“). Последний – герой не только автопсихологический, но и „автовимический“ – в том смысле, что значение его фамилии ассоциативно связано с этимологическим значением фамилии автора („оленинок“, „молодой олень“). Олень – животное царственное, величественное, грациозное („Король-олень“). Превращение олененка в козленка является поэто-

¹⁷ Знаменитые случаи из практики психоанализа, Москва 1995, 204.

¹⁸ Ю. Олеша, *Зависть. Ни дня без строчки*, 440.

¹⁹ Ю. Олеша, „Речь на 1 съезде советских писателей“, *Первый Всесоюзный съезд советских писателей*, Москва 1934, 236.

²⁰ *Воспоминания о Юрии Олеше*, 92.

му травестийным, хотя с другой стороны, придает носителю соответствующей фамилии трагический ореол. И действительно, в судьбе героя рассказа „Пророк“ трудно провести грань между высокопарным и подлинно высоким. Он не сумел реализовать свои задатки пророка, как и самому автору, по собственной оценке, не удалось превратиться в „гениального художника“.²¹ „Мне кажется, что я только называтель вещей“.²² Впрочем, самоуничижительное „только“ едва ли здесь уместно, ведь роль „назывателя вещей“ превращает писателя в „нового Адама“.

²¹ „Очевидно, в моем теле жил гениальный художник, которого я не мог подчинить своей жизненной силе. Это моя трагедия, заставившая меня прожить по существу ужасную жизнь...“ (*Встречи с прошлым*, вып. 6, Москва 1988, 316).

²² Ю. Олеся, *Зависть. Ни дня без строчки*, 340.